БОЙ НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ЧАСОВ

ДЕТЕКТИВНАЯ ТРИЛОГИЯ



МАРК РЭЙВЕН

Марк Рейвен

Бой несуществующих часов

«Автор»
2026

Рейвен М.

Бой несуществующих часов / М. Рейвен — «Автор», 2026

У городка Ясеневка нет башни уже тридцать семь лет. Но по ночам люди слышат её бой — и у каждого, кто его слышал, пропадают часы. А потом пропадают и они сами.Максим Волков — бывший опер угрозыска, а ныне владелец «Бюро розысков имени Калле Блюмквиста» (вывеска из флюгера, кот Серафим в должности младшего партнёра) — берётся за странное дело: кто-то по ночам заводит часы часового мастера, умершего в девяносто четвёртом, и оставляет записки с обратным отсчётом: «До субботы. Тик-так».За пять дней, которые отделяют Максима от субботы, ему придётся раскопать пожар 1989 года, список людей, которые тридцать лет считали себя вне подозрений, и тайную комнату, где тридцать семь лет жил мальчик, которого город похоронил.

© Рейвен М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Сорок девять минут 7
Глава 1. Бюро имени не того Блюмквиста 8
Глава 2. Соседи и собаки 10
Глава 3. Пирожки и суеверия 12
Глава 4. Блокнот наладчика 14
Глава 5. Пыль архива 16
Глава 6. Левое ухо Гарина 18
Глава 7. Шахта 20
Глава 8. Записка для меня 22
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Марк Рейвен
Бой несуществующих часов

Марк Рэйвен

БОЙ НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ЧАСОВ
детективная повесть с мистикой

Роман в трёх книгах. 2026

Марк Рэйвен
Бой несуществующих часов
Роман в трёх книгах: «Бой несуществующих часов», «Суббота в Стрельцове», «Суббота в Житкове»
Рукопись, подготовленная к публикации. 2026

АННОТАЦИЯ

Роман «Бой несуществующих часов» — детективная трилогия с мистикой о городе, который тридцать семь лет молчал, и о людях, которые умеют слушать.

Книга первая. В городке Ясеневка умирают люди, перед смертью слышавшие бой башни, которой нет с 1989 года. Частный сыщик Максим Волков — владелец «Бюро розысков имени Калле Блюмквиста», кот и одна жалоба на самочувствие — раскапывает пожар тридцатисемилетней давности и исчезновение двенадцатилетнего Тёмы Грицко, сына часового мастера. Убийца собран, механизм отчитан, а мальчик, которого город похоронил, выходит из тайной комнаты — живым.

Книга вторая. В соседнем Стрельцове механизм, спрятанный в 1962-м, начинает считать фамилии. Одиннадцатилетний Артём Мешков завёл то, что нельзя заводить без мастера, — и перед Максимом и Тёмой встаёт вопрос: что делать с должниками за башню, которую снесли по глупости, а не по злобе.

Книга третья. Житков — город, в котором все дни суббота. Здесь башня стоит, но молчит с 1998 года: инженер, умевший заводить всё, однажды услышал в тринадцатом ударе фамилию своей матери и с тех пор не открывает портфель. Ему придётся научиться тому, чего не умеет ни один заводчик, — слушать.

Три города, три механизма и одна механика долга: часы запоминают, молчание — тоже механизм, а суббота всегда.

ОБ АВТОРЕ

Марк Рэйвен — литературный псевдоним автора, пишущего детективы с мистикой и самоиронией. «Бой несуществующих часов» — его первая книга о часовых механизмах, которые бьют долги, и о людях, которые умеют слушать.

Автор благодарит город Ясеневку — город, которого нет, и людей, которые в нём живут.

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ

По субботам. Если уже не суббота — значит, ждите: суббота всегда.

КНИГА ПЕРВАЯ
«Бой несуществующих часов»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СОРОК ДЕВЯТЬ МИНУТ

Пролог. Сорок девять минут

До боя оставалось сорок девять минут — если верить наручному «Славе» сторожа хлебозавода Полуэктова, а Полуэктову можно было верить в двух вещах: в его часах и в его привычке врать про всё остальное.

Ночь стояла ноябрьская, ушастая: ветер гонял по улице Мира сухие листья и собственные мысли. Полуэктов — Максим позже разыскал его в Житкове, где тот доживал при родне, — сидел у окна караулки с чайником и слушал город. Ясеневка в такие ночи звучит честно: собаки, трубы, изредка «ГАЗик» больницы. Никаких других звуков она не обещала.

И ровно в одиннадцать сорок семь город их услышал.

Бой. Башенный, тяжёлый, медный — тот, у которого каждый удар сначала заполняет грудную клетку, а только потом ухо. Двенадцать ударов. Только башни в Ясеневке не было уже триста метров от того места, где она стояла: девять лет назад башню закрыли, а с неделю назад — погасили в ней последнюю лампочку.

Полуэктов потом клялся, что часы у него свернулись сами. Что «Слава» отстал на двенадцать минут и ходил назад, против хода, как будто кто-то большой тянул стрелки за руки.

А в 11:52 загорелась часовня? Нет. Загорелась башня.

Огонь пошёл снизу — из подвала, где жили механизмы. Через окна смотровой площадки видно было, как прыгают тени: маленькие, быстрые, похожие на человека, который машет двумя руками. Соседи с улицы Кленовой в этом человеке потом узнали мальчика. Двенадцатилетнего Тёму Грицко, сына часового мастера, который в ту ночь сидел внизу, при своих шестернях, и не выходил.

Мастер Севастьян Грицко прибежал первым — в майке, на морозе, без обуви. Он орал так, что проснулись три улицы. Он рвался к пожарным, к бригаде, к воротам, и его держали двое, а потом трое, потому что он был сильнее любого из них по отдельности.

— Он там! Он там, папа, я его видел! — кричал кто-то тонко, и этим кем-то был мальчик, который выжил. Аркаша. Сосед Тёмы. Дети лезли в подвал башни тайком всегда — ягнёнки в цех кудахтающих машин, — и в ту ночь их было двое. Один вышел. Один остался.

Пожарные били по воротам ломом двадцать минут. Говорят, внутри что-то ухало — не пламя, не обвал, а именно ухало, как здоровенный часовой механизм, который всё ещё шёл, всё ещё считал.

В 12:33, когда башню уже нельзя было спасти, все, кто стоял на снегу, слышали удар. Один. Ровный, спокойный, бронзовый. Как будто где-то внутри прогоревшей коробки часы посчитали до конца и остановились.

Тёму Грицко не нашли. В деле было записано: «причина возгорания — неисправность электропроводки, несовместимая с эксплуатацией здания». На этом следствие поставило точку, а город поставил многоточие и почти тридцать лет обходил башню стороной — прижившуюся чёрную коронку над центром Ясеневки, к которой за полвека привыкли так, что перестали замечать.

Отец мальчика после той зимы уже не чинил часы. Он садился к верстаку, брал пинцет — и оставался так сидеть часами, глядя на стену. Умер он тихо, в феврале девяносто четвёртого, на кухне, в кресле, и последней его просьбой было не выбрасывать отцовские «Павел Буре», которые висели в комнате до последнего дня.

А в 2026-м — это уже к нам, к нам, дорогие товарищи присяжные, — в Ясеневке снова стали слышать бой.

Глава 1. Бюро имени не того Блюмквиста

Меня зовут Максим Волков, и в предыдущей жизни я был очень хорошим опером угрозыска. Настолько хорошим, что отдалил меня от работы собственный начальник — по его мнению, слишком хороший опер в уездном городке опаснее плохого: плохой пьёт, а хороший пишет. Я написал. Печатаю до сих пор.

Теперь у меня «Бюро розысков имени Калле Блюмквиста». Вывеску я склеил из флюгера, оставшегося от закрытого кафе «Верба», и синей плёнки-самоклейки. К имени прибавил кота: я считаю, что солидному учреждению нужен либо кот, либо юрист, и юрист мне был не по карману.

Калле Блюмквист, если кто не читал, — мальчик с улицы, который имел наглость расследовать преступления в то время, как взрослая полиция расследовала, почему не работает полиция. Мне всегда нравилась эта методология. Я просто доработал её под свой возраст: сорок один год, шерстяной шарф и папка с надписью «РАЗГАДКИ».

В папке лежит пачка «Посодержит-кофе» и один разгаданный кроссворд.

Клиентов у бюро два: кот Серафим — младший партнёр, отвечает за харизму и генерацию пуха, — и город Ясеневка. Город платит нерегулярно, натурой и в основном проблемами.

Проблема той пятницы вошла в мою дверь под видом женщины лет шестидесяти в пальто цвета синей изоленты — той самой, из которой я делал вывеску. Совпадение, но приятное.

— Волков? Максим? — спросила она так, как спрашивают про «того самого Волкова», и я мысленно начал составлять алиби на все преступления округа за последние десять лет. К счастью, алиби у меня было железное: десять лет я исправно выпрашивал у Васи в «Колоске» пирожки с риской* на определённый тон голоса, и это было подтверждено документально. Свидетель — Вася.

* Риска. Приправа. Не путать с жизненными.

— Эльвира Севастьяновна Грицко, — представилась она, не садясь, — выведите из строя моё молчание, я слишком долго держала язык за зубами.

— Плацкартный вариант, — сказал я и пододвинул ей стул. — На диван вы хэпенинг не доехали бы.

Эльвира Севастьяновна была дочерью того самого часового мастера, про которого в городе знали все, кроме тех, кто не знал ничего. Севастьян Грицко — кумир ног, башенный мастер, человек, который умел разговаривать с механизмами на ты. Про него до сих пор рассказывали, что в 1972-м он перекинулся с башенным караулом: из тридцати шести минут тот прыгал прямо, а последний он вытащил рукой.

— Отцовские часы, — сказала она, наконец, сев на стул, который не держал её вес, — заводит кто-то по ночам.

— Говорите правду, — попросил я. — Это бюро розысков, а не юмореска.

— У меня в комнате висят «Павел Буре», — ответила она ровно, как будто проверяет, смогу ли я справиться с этой фразой, не заплакав и не засмеявшись. — Отец заводил их сам. Каждое воскресенье. Умер он в феврале девяносто четвёртого. С тех пор часы стоят. Я их не трогаю: одна стрелка на двенадцати, вторая на семи. Он всегда заводил их в воскресенье, у меня — память часовщика. Я не заводила их девятнадцать лет, Максим.

— Так.

— В ночь на прошлую пятницу я проснулась от скрипа. Часы шли. Ходили обе стрелки. На стене записка.

— Что в записке?

— «До субботы. Тик-так». — Эльвира Севастьяновна взяла со стола сложенный листок и положила передо мной. — Каждую ночь записка. Каждую ночь часы снова стоят. Каждую субботу — суббота всё ближе, Максим. Я не знаю, что произойдёт в субботу.

Я взял записку. Бумага офисная, ручка гелевая, синяя. Почерк ровный, отточенный, как у человека, который всю жизнь писал что-то важное мелким шрифтом.

— Вы заявляли в полицию?

— Сказали, что я в моей ситуации занимаюсь самообманом. — Она усмехнулась без веселья. — Капитан Кравцова. Былая женщина.

— Капитан Ирина Кравцова — свет молодого поколенья, — сказал я, посчитав, что осведомлённость выгоднее правды. — У нас с ней сложные отношения. В основном через забор.

— Я слышала.

— От кого?

— От всех. Вы тут человек известный: тот опер, что писал.

— «Пишущий опер» — это я, — подтвердил я. — Только теперь пишу не докладные, а главным образом жалобы на самочувствие.

Эльвира Севастьяновна посмотрела на кота. Серафим в этот момент спал на копировальном аппарате (мёртвом, 1997 года рождения, я держу его для солидности), и лапа его дёргалась во сне.

— Сколько? — спросила она.

— За поиск, заводящий ваши часы? Пять тысяч и ящик пирожков. Оплата по факту. Факт наступит в субботу — я буду смотреть на ваши часы в 11:58.

— Максим. — Она впервые за весь разговор посмотрела мне в глаза, и я почувствовал себя тем, кем меня считали в городе: плохим опером, у которого всё ещё жива голова. — Мой отец говорил: часы — это обязательство. Механизм — это обещание. Если кто-то их заводит — значит, кому-то нужно, чтобы они шли. А если в этом городе кому-то нужно, чтобы шли часы моего отца, — мне страшно.

Я не совру: мне тоже стало. Только не от её слов, а от того, что записка пахла машинным маслом. И оттого, что по дороге домой, когда я вечером возвращался, я не слышал ни одной собаки. Все собаки города выли — с одной и той же ноты, как будто репетировали хор для какого-то концерта, на который меня не пригласили.

Но про это я решил промолчать. До субботы.

Глава 2. Соседи и собаки

Есть два способа узнать, что происходит в доме, где по ночам заводят часы. Первый — цивилизованный: прийти к соседям и спросить. Второй — наш, российской селекции: прийти к соседям и дать понять, что спросить не успеешь, потому что ты уже стоишь в дверях и на тебя смотрят.

Второй работает лучше.

Дом Эльвиры Севастьяновны стоял на Луговой, 11 — пятиэтажка хрущёвской выделки, покрашенная в цвет «восемьдесят девятый год остался позади». Я поднялся на второй этаж и стал искать людей, у которых есть уши, время и желание говорить.

Первым разговорился Чижов — балагур с первого этажа, муж, отец двоих и автор теории, по которой все беды Ясеневки начались с закрытия ларька «У Зои».

— Волков? Пишущий опер? — обрадовался он мне, как обрадовались бы пожарной машине. — Услуга-услуга! Вы час не знаете, где Зоя?

— Зоя умерла в две тысячи третьем, я на её похоронах играл в шашки.

— Вот видите, всё началось тогда. — Чижов заглянул через плечо, на улицу. — Слушай, а ты про часы знаешь? У Эльвиры Севастьяновны?

— Знаю.

— Так я же слышал! — Он стукнул себя кулаком в грудь. — Ночь на пятницу. Я, между нами, просыпался — печень или совесть, не разберёшь, — и слышу: скрип. Такой сосковый скрип, понимаете? Пружина старая тянется. И следом голос. Женский или скрипучий — не поймёшь. Тихий, «до субботы». Я сперва подумал, Эльвира Севастьяновна с кем-то разговаривает. Но она же одна.

— Голос? — переспросил я.

— Ну... — Чижов задумался. — Может, и не голос. Может, мне приснилось. Но «до субботы» я слышал точно. У меня понедельник — вещь.

— А «тик-так» не слышал?

— Не. — Он почесал затылок. — Хотя знаешь что? Собаки.

— Собаки?

— В ту ночь, — сказал он очень серьёзно, так, что мне захотелось налить ему чаю и назвать его расследователем, — собаки не лаяли. Все. Ни одной. У нас в округе пятнадцать собак, я считаю, я каждую знаю: Полкан, Бублик, Мушка, Чип и Дейл, который зовётся Чипом, но откликается на Дейла... В ту ночь — тишина. Я сперва обрадовался: наконец-то высплюсь. А потом понял, что тишина — это когда всем хорошо. А это была не тишина. Это был «ш-ш-ш».

На выходе я встретил бабу Дусю, которая была старше дома и понимала в них больше инженеров.

— Максим, — сказала она, не дожидаясь вопросов, — ты у Эльвирки?

— У Эльвиры.

— Скажи ей. — Баба Дюся схватила меня за рукав с силой, неожиданной для восьмидесяти лет. — Скажи ей: не слушай, когда бьёт. Часовщики этому учат: когда механизм живёт без мастера, он начинает разговаривать. А кто его заведёт — тот его позвал.

— Баба Дюся, вы сами-то боялись в 1989-м?

Она посмотрела на меня снизу вверх — сверху вниз не могла: рост, возраст и годы не позволяли. И сказала:

— Я не боялась в 1989-м. Я боялась в 1990-м, когда поняла, что никто не ищет мальчика. А теперь мне страшно не стало. Максим, старому человеку страшно только за молодого. Себе не страшно: время уже забрало.

Она ушла, аккуратно закрыв за собой дверь подъезда — так закрывают не дверь, а разговор.

Я вернулся в бюро к одиннадцати сорока пяти. Кот Серафим спал на копировальном аппарате, и лапа его дёргалась — я не буду врать, я понял это как «он что-то видел». Кошки, если верить Эрнесту Хемингуэю, видят в домах то, чего не видим мы; если верить Серафиму, он во сне гнался за пельменем. Обе версии имеют право на жизнь.

В 11:57 вошла Эльвира Севастьяновна. В 11:58 часы показали «двенадцать ноль одну минуту», и на стене — где вчера было «До субботы» — лежала новая записка.

И в ту же секунду, за окном, на улице Луговой — по всей её длине — во все пятнадцать собак разом взвыли.

Одной нотой.

Как репетиция.

Глава 3. Пирожки и суеверия

Суббота не наступила в тот вечер, когда надо бы, а случилась по расписанию: у меня в 11:58 сидели Эльвира Севастьяновна, кот, я и троллейбус, который за окном выезжал со стоянки с той только разницей, что троллейбус в нашей реальности ехал ровно.

Часы показали двенадцать ноль одну минуту.

Ничего не произошло.

— Значит, я вам не нужна? — спросила Эльвира Севастьяновна разочарованно, как будто готовила одно из двух: либо выплату, либо разборку.

— Погоди, — сказал я. Часы были на прежнем месте, стрелки прежние, стрелки не дрогнули. Но.

Но записка на стене была новая.

«Тик-так. Тик-так. Пётр. До воскресенья».

— Кто такой Пётр? — спросил я.

— Пётр Гнедой, — сказала Эльвира Севастьяновна и побледнела, — наладчик лифтов. Сосед снизу. Он бессонницей страдает... Он мне говорил — прошлой ночью он слышал бой. Башни. Нашей башни, Максим. Он его слышал три ночи подряд.

Позже я узнал, что у Гнедого есть жена и две девочки, что он гонял в шахматы хуже меня и что по своей гражданской позиции он был человеком совести: каждый раз, когда город красил что-нибудь в серый, он подходил и говорил: «А чем это от стены отличается?» — после чего его выгоняли с объекта с формулировкой «профнепригодность к восприятию цвета».

В воскресенье Гнедой не вышел на смену.

Об этом мне рассказал Фёдор, сосед-весельчак, который разбирался во всём, кроме весёлости.

— Его в шахте нашли, — сказал Фёдор, поднимая с той самой ноги, на которой у него всегда висело «всё в порядке, максимум». — В нашем доме, на Титовой, четвёртом подъезде. Лифт-то старый, но он же сам его наладчик. Он в шахту не падал. Максим, у него на запястье часы пропали. Мать рассказывает, что часы были, а когда тело вынесли — часы нет.

Так это и выглядит, когда город решает, что ему не было: в шахте лифта, на глубине в два этажа, лежит человек, который три дня слушал несуществующую башню. У него нет часов. У него нет лица, с которым он наконец согласен.

И у него есть мать, которая приходит к следователю и спрашивает: «Кто его так?» — и получает ответ: «Производственная травма». И вся Ясеневка кивает: производственная травма, так это у нас бывает, наладчик он, со всяким бывает.

Я пришёл к Клавдии — продавщице из «Колоска», женщине, которая знает город лучше, чем его мэр, повариха, краевед и агент ФСБ одновременно, — и купил два пирожка с риской и пол-литра слухов.

— Бой башни, — сказала Клавдия, не дождавшись вопроса. — Все говорят. Гнедой — третий, слышишь? Первой была Клара Демьяновна, с Медовой. Умерла в начале месяца — сердце. Но всю жизнь жаловалась, что по ночам слышит бой. Ей никто не верил: старушенция. А теперь Гнедой. Говорят, часы пропадают. Забирает.

— Кто забирает?

— Часовщик, — сказала Клавдия и перекрестила пирожок. — Долги собирает. У нас в городе говорят: если слышишь бой — значит, ты кому-то должен. И если не отдаёшь — он за тобой приходит. За временем приходит.

— А если человек не должник?

— Так все должники, Максим. — Клавдия посмотрела на меня с добротой, с которой смотрят на ребёнка, который ещё не знает, что будет платить за коммуналку вечно. — Ты сам-то кому-то должен?

Я не ответил. Не потому, что должник, а потому, что в этот момент по улице Мира — по всей её длине, от булочной до закрытого кинотеатра — одновременно погасли все фонари. Ровно в 11:47.

И в этой темноте, где-то там, на северо-западе, где стояла башня, что-то ударилось в медь.

Раз.

Ясно, что это на самом деле был отбойник интеграла на трансформаторной, или ветер, или мой собственный пульс в ушах. Ясеневка в такие ночи звучит честно. Честно.

Но двенадцать раз я не пересчитал.

Глава 4. Блокнот наладчика

Вдова Петра Гнедого — Лариса Петровна — открыла дверь не сразу. Сначала за дверью было слышно, как она пытается разобрать, кто в глазок стоит: полиция, соцработа, соседка с вопросом «как муж?» или телевидение, которое в Ясеневке смотрит на любые трагедии с интересом жирафа в зоопарке.

— Вы Волков? — спросила она сквозь дверь.

— Пишущий опер, — сказал я, потому что карточку мне делать было лень.

— Тогда заходите. Только вот что. — Дверь открылась, и Лариса Петровна — маленькая, сорок лет, с красными глазами — посмотрела на меня с той твёрдостью, за которую роднятся вдовы и солдаты. — Вы спросите всё. Я отвечу всё. Но я не буду больше слушать слово «травма». Слышите? «Травма» — это когда он сам. А он не сам. Он в субботу сказал: «Отдам». И потом — не вернулся.

Я сел. Кот у них был свой — Феликс, серый, худой; Феликс в это время смотрел на стену, на одно и то же место, и я постарался запомнить, куда именно.

— Что значит «отдам»?

— Так в блокноте и написано. — Она принесла тетрадь в клетку, потрёпанную, с зажимом для денег. — Он всё записывал. Он всегда всё записывал, он был такой: если выпил чай — запишет, что выпил чай. Вот: «первая ночь — 11:47, двенадцать». «Вторая ночь — 11:47, двенадцать». «Третья ночь — 11:47, двенадцать».

— Двенадцать ударов? — спросил я. — Или двенадцать — количество?

— Всё вместе, Максим. Вы посмотрите. — Она открыла последнюю страницу.

Запись была одна, свежая, торопливая:

«11:47. Двенадцать. Слышу, как считает. Он не вычитает — он отсчитывает. Долги. Три оставались. Часы отдам завтра. Простите, Лариса, за всё. Тебе и девочкам. Время верну, как умею».

Я прочитал три раза. Времени хватило: Лариса Петровна ушла на кухню за чаем и вернулась с двумя кружками и котом на плече.

— Когда он это написал?

— В субботу вечером. Я спала, он писал за столом. Утром — не проснулся.

— Лариса Петровна, а записка? Записка, которую давала капитану Кравцовой, — она была у него в кармане куртки?

— Да. «До воскресенья. Тик-так». — Она прижала ладонь к губам. — Я ей тогда не поверила. Думала, он сам себе написал, от бессонницы. Люди так делают, когда стыдно. Максим... он же не самоубийца? У нас девочки, у нас лифты, у нас кредит до пятнадцатого.

— Не самоубийца, — сказал я твёрдо, потому что у меня на этот счёт было предчувствие, а предчувствие у оперов в семьдесят процентов случаев — это логика, которую лень проговаривать. — Лариса Петровна, а что он собирался отдать?

— Часы. У него были отцовские часы, дедовские. «Молния», с секундной стрелкой, механизм Грицко. Отец Пети завёл их в шестьдесят девятом у самого Севастьяна и не давал никому. А в субботу, утром, Петя пошёл в мастерскую Сомова. Он сказал: «Верну долг. Он нас не любит, но он любит работу».

— Сомов?

— Реставратор. На дореволюционные часы посмотрел и сказал: «Господи, это же грязь, а не механизм»... — она запнулась. — Максим, я не знаю, зачем я вам это говорю.

— Говорите. — Я наклонился вперёд. — Сомов взял часы?

— Он их не вернул. Он сказал: «Отлично. Теперь я слушаю тебя». И Петя сказал мне: «Я ему отдал, он заберёт и успокоится». А в понедельник — шахта.

Мы вышли с Феликсом в прихожую. Феликс всё смотрел на стену, туда же, куда смотрел в кабинете, и я понял, куда именно: на старый календарь «Советская Россия», где за 1989 год под маем было какое-то пятно.

— Лариса Петровна, что за пятно?

— Кофе, — сказала она. — Восемьдесят девятый год. Петя тогда в восемьдесят девятом был... — она запнулась, — он же тогда был маленький. Максим, он тогда был в этой истории? Он тогда же был маленький.

— Он был в подкомиссии, — сказал я.

— В какой?

— Комиссия, которая подписала акт о башне. По-моему, у вашего Петра там подпись.

Лариса Петровна посмотрела на меня так, как смотрят люди, у которых весь мир начинает располагаться по линейке, — и линейка не в их пользу.

— Он подписал, — прошептала она. — Он говорил мне: «Я подписал то, что сказали». Я думала, про ремонт. Максим, я тридцать семь лет живу с человеком, у которого было время, а не часы, и я не спросила его, чем он платил.

Мы вышли на улицу. Небо было того цвета, который в Ясеневке означал «прогноз ожидаем». Я шёл к бюро и старался не думать о том, что человек, который подписал, — умер. Что человек, который подписала, — умерла. И что осталась ещё одна женщина с красными глазами, и это Эльвира Севастьяновна, у которой по ночам заводят часы её отца.

А на площади Труда, когда я проходил мимо, в башне — в башне, куда тридцать семь лет никто не ходил, — горело окно.

Глава 5. Пыль архива

Краеведческий музей Ясеневки занимает бывший дом купца Гринберга — особняк с колоннами, из которых две настоящие, и с сотрудниками, из которых один настоящий. Настоящий — директор, Геннадий Львович Кепочка, мужчина за шестьдесят, который произносит слово «архив» с придыханием, как «любовь».

— Максим! — сказал он мне так тепло, что я проверил, не болею ли я. — Пришёл поразгадывать прошлое?

— Пришёл на секунду посмотреть, как живут прах и тишина.

— Прах и тишина — это второй этаж, — кивнул Геннадий Львович. — Первый — это я.

Дело о пожаре 1989 года нашлось на второй полке, между «Личное дело купца Гринберга (утеряно)» и «Жалобы на завод». Геннадий Львович вынул папку, как вынимают зуб: аккуратно и с опаской.

Материал был небогат. В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое ноября 1989 года в башне на площади Труда произошёл пожар. Пострадало здание (100 %), механизм часов (утрачен), шестерни, краска, председатель ликвидационной комиссии — нет, председатель ликвидационной комиссии как раз пострадал от «неудовлетворительное состояние объекта».

И пункт, который я искал: «В ходе тушения обнаружены следы пребывания несовершеннолетних: Т. Грицко (12 лет), А. Сомов (13 лет)». Грицко, Тимофей Севастьянович, сын часового мастера, — числился пропавшим без вести. Сомов, Аркадий Иванович, — числился выехавшим к родственникам в Житков. Больше в деле его нет.

— Геннадий Львович, а следственное дело куда делось?

— Следственное? — Геннадий Львович поднял бровь, отчего та двоилась. — Ушло в область, полагаю. А что?

— То, что в копии, которую мне дали в 2017-м под честное слово, — а честное слово, между нами, стоило две коробки конфет, — мальчика Грицко записали «вероятно, покинувшим место происшествия». Сейчас — «пропавшим без вести». Кто менял?

— В том-то и печаль нашей профессии, — вздохнул Геннадий Львович. — Город переписывает себя каждые десять лет. То ли от стыда, то ли от скуки. Стыд надёжнее.

Он вытащил из стола пачку фотографий — «последняя, что осталось». На снимках: горящая башня — в три на четыре, под липами; толпа, смотрящая на пожар; лица, которые я знал: Клавдия-продавщица, лет двадцати, в валенках; майор Гарин, огневой специалист, с ведром; и господин, которого я не знал: высокий, в шляпе, стоящий так, что все остальные оказываются спиной к камере, а он — лицом. И смотрит он не на пожар.

Он смотрит в ту сторону, где я в 2026-м буду сидеть с папкой «РАЗГАДКИ».

— Кто это? — спросил я.

— Не знаю, — сказал Геннадий Львович. — Может, фотограф. Может, архитектор. Может, тот, кто сделал всё это. Мы не узнаем. Бумага — как город: всё помнит и ничего не говорит.

Папку я закрыл и заметил на внутренней стороне обложки штамп, который в панике не разглядел раньше: «Принято к рассмотрению: Г. Сомов». Г. Сомов. Не А.

На выходе мне навстречу попался человек, которого я знал: Сомов Аркадий Иванович, реставратор, приехавший в город в сентябре по договору с администрацией — восстанавливать башню к городскому празднику. Высокий, в шляпе, уже без шляпы. В руках — портфель из жёлтой кожи с заклёпками.

— Максим Волков, — сказал он без вопроса, как будто сверил с биркой. — Пишущий опер. Как ваше бюро?

— Работает над репутацией.

— Работает над репутацией, — повторил он мягко, и оттого, как он это повторил — так, как повторяют не «как дела», а «долго ли тебе ещё», — у меня по спине поползла холодная ладонь. — Меня зовут Аркадий Сомов. Если вам нужны часы, я вам чиню? Нет? Жаль. У вас запястье, Максим, а у вас на запястье «Полет», 1982 года. Нуждается в чистке.

— Откуда вы знаете?

— Я реставратор. Я знаю, как ходят часы. — Он улыбнулся. — Как и всё, что ходит.

Он ушёл. Я остался стоять на площади Труда, в центре города, под чёрной коронкой башни, и — давайте честно, товарищи присяжные — я стоял там до тех пор, пока не услышал удар.

Раз.

Это не был интеграл на трансформаторной. Это не был ветер. Это было семь — и семнадцать минут после полудня, когда башни нет, часового мастера нет, а мальчик не найден уже тридцать семь лет.

Мне впервые за девять лет с момента увольнения захотелось написать докладную. На самого себя.

Глава 6. Левое ухо Гарина

Майор в отставке Гарин жил у гаражей на Дубовой — в кирпичном одноэтажном доме, вокруг которого стояла очередь гаражей, как будто тоже ждала приёма. Во дворе сушилось бельё. На крыльце стоял таз с яблоками. Всё это было так нормальное, что я дважды переспросил себя, к той ли двери я пришёл.

— Волков! — крикнул Гарин от гаражей, где он о чём-то спорил с «Жигулями». — Пришёл! Заходи, только полы не стирай, я вчера помыл.

Гарину было под семьдесят. Он был из той породы мужчин, у которых кулаки держат не кулаки, а усталость. Он сел напротив, разлил чай — чай у него был в банке из-под мёда, и банки были две, и вторая тоже была с чаем, — и сказал:

— Ты по башне.

— По башне.

— Я знал, что кто-то придёт. — Он отпил. — Тридцать семь лет. Я знал.

— Виктор Иванович, — начал я, — акт о пожаре...

— Я писал, — сказал он просто, как признание. — Он велел, и я писал. «Причина возгорания — неисправность электропроводки, несовместимая с эксплуатацией здания». Я писал тридцать минут, максимум сорок. Максим, я огневой, я в пожарной части тридцать лет, я такие причины пишу наизусть. И проводка там была, не спорь: проводка там была. Но было и другое.

— Что?

— Балашов. — Гарин посмотрел в окно, на гаражи, как будто там, за стеклом, был не гараж, а 1989 год. — Сварщик Балашов. Ему надо было сделать подпорку в подвале, он сделал в ночь. Самоволка. Искра пошла по старой проводке — старой, которую Лозовой не менял, потому что у него был план по экономии, и план был защищён на совете треста. Я это знал. Я всё это знал. Я об этом доложил Гарину — то есть я доложил себе, то есть я молчал. — Он усмехнулся краем рта. — Забавно, да? Я триста раз об этом рассказывал. Всегда по-разному. А сейчас рассказываю по-настоящему и не могу найти, чем это было.

— Виктор Иванович, а мальчик?

— А мальчика я не видел. — Гарин посмотрел мне прямо в глаза, и я понял, что он не врёт, а врёт он в том месте, где врёт человек, который врёт в самое трудное. — Максим, я не видел мальчика. Я видел только, как Грицко рвался к воротам. Я видел, как он кричал. Я держал его за руки и понимал, что не держу: у человека под кожей бывают такие вещи, что двое военных его не держат, если он — отец. И я писал. И пока я писал, внутри башни бил механизм. Не пламя — бил. Я слышал.

— Бил до пожара или во время?

— Во время, — сказал Гарин. — И после. И... — он замолчал и потёр левое ухо.

— Что?

— Максим, а ты умеешь слушать? — спросил он неожиданно.

— Умею. Если мне наливают чай.

— Хорошо. — Он встал, прошёл к комоду и вытащил из него маленькую коробочку. Внутри были наручные часы — «Победа», потёртые, без ремешка. Стрелки стояли на 11:47.

— Они остановились в ту ночь. Я их не заводил больше ни разу. Севастьян Грицко чинил их неделю до того пожара — в честь даты? Нет. Просто так, в честь человека. И они стояли с той ночи, и я их храню, и я их иногда слушаю. — Он положил их на стол. — Максим, я тебе скажу то, что не говорил ни следователю, ни попу, ни себе. С той ночи я слышу бой в левом ухе. Только в левом. Я в ту ночь стоял к башне левым боком. Врач сказал: «Отосклероз, возраст, нервы». Я его не спрашивал, потому что в правом ухе — нормальный слух, Максим. В правом я слышу радио, жену, соседей, «Посмотри на свою очередь в лазарете». А в левом —

слышу бой. Он бьёт, когда я не прав. Когда я неправ перед людьми, он бьёт. Тихо, до потолка, как будто кто-то в стене ткнул кулаком.

Я сидел тихо, потому что тихо сидели и яблоки в тазу.

— Виктор Иванович. — Я начал аккуратно, как подбираются к чужому капоту. — Сомов? Реставратор? Он к вам заходил?

Гарин долго молчал. Потом достал из-под стекла на столе — под стеклом у него была «Известия» за 1989-й — записку и положил передо мной.

«До вторника. Тик-так. Отец пишет: ты знаешь, где я».

— Отец, — сказал Гарин тихо. — Максим, ты же следак. Это угроза или обещание?

— Я ещё не знаю, — признался я.

— Я знаю. — Гарин убрал записку обратно под стекло, накрыл «Известиями», как накрывают могилу. — Это обещание. Это обещание, Максим. И я его ждал тридцать семь лет, потому что акт, который я написал, — он не бумага. Акт — это время, которое человек подписал за другого. И оно идёт. Оно идёт, Волков, оно идёт, и однажды оно идёт до конца. — Он посмотрел на остановившиеся часы на столе. — Я оставил бы свои часы. Скажи ему. Скажи ему: пусть берёт, пусть хотя бы берёт.

Я уехал от Гарина с двумя кружками чая внутри и одной стопкой эмоций снаружи. На площади Труда светило солнце — обычное, безымянное. Башня стояла чёрная, как всегда. Кот Серафим, когда я вернулся, сидел у двери бюро и смотрел на северо-запад, на ту же точку, в которую смотрел человек в шляпе на фотографии 1989 года.

У котов, если верить Хемингуэю, есть на этот счёт свои механизмы.

У меня на этот счёт уже была папка «РАЗГАДКИ».

Глава 7. Шахта

Капитан Ирина Кравцова ждала меня в кабинете следственного отдела, сидя на стуле, которым давно можно было бы заменить унитаз, если бы унитаз умел смотреть так, как смотрела она: с видом «я всё про тебя знаю, включая вчерашнее». За спиной капитана висела карта Ясеневки с флажками — и, между нами, я был почти уверен, что один флажок стоял на бюро розысков.

— Волков, — сказала она, не поднимая головы. — Я вызвала тебя не для того, чтобы ты танцевал.

— И слава богу. У меня от смены обуви.

— Пётр Гнедой. — Она перевернула лист. — Найден в шахте лифта дома Титовая, 4. По предварительным данным — падение с высоты. По моим данным — не падение: на стене шахты царапина кольцевая, как будто кто-то держался за край... — она посмотрела на меня, — ...времени. И часы исчезли. У рабочего, работающего с лифтами, не бывает травм без часов: он живёт по ним.

— Вы это в протокол впишете?

— Впишу «производственная травма», потому что город не пережил бы другого. — Кравцова подняла глаза, и они у неё оказались совсем не сердитые, а очень даже живые и очень даже уставшие. — Но между нами, Волков: у меня в канцелярии лежит твоё заявление об увольнении из угрозыска. Я его читала. Там написано: «по личным убеждениям». Это когда?

— Это когда я разослал в прессу материалы о подкате, — сказал я. — Начальник посчитал, что материалы — это опоздание. Я посчитал, что опоздание — это ты.

— Романтично.

— Профессионально. Романтика — это когда в голову приходит кто-то другой.

Кравцова усмехнулась — одной половинкой лица, второй половиной, которая с нами не согласилась. И в этой второй половине я прочитал: она знает про Эльвиру Грицко, про записки, про «до субботы», и её очень интересует, что я знаю.

— Эльвира Севастьяновна Грицко по ночам слышит бой, — сказала она вместо меня. — Как и Гнедой. Как и, возможно, Клара Демьяновна с Медовой. У нас в городе городская легенда: башня бьёт по должникам. Я не суеверная, Волков. Я следователь. Но у меня на столе лежат три сообщения о жителях, которые слышат бой, и один труп без часов. И если ты мне скажешь, что ты суеверен больше меня, я тебе поверю.

— Я не суеверен, — сказал я. — Я как раз человек с уставом. Но у меня вопрос: что делал Гнедой в шахте в шесть утра по рабочему графику, если он уже вышел в наладку?

— Работал.

— В шесть утра? — Я наклонился вперёд. — Кравцова. Он же наладчик. У них план. Никто не работает в шесть утра. Никто не работает в шесть утра за всю историю Ясеневки, включая тех, кто работал в шесть утра.

— Вы про то, что его вызвали?

— Я про то, что он спустился туда сам. — Я встал. — Или его спустили. Или он спустился туда, потому что услышал что-то. Спросите его жену. И посмотрите его квартиру: у наладчиков всё в записях. Если он три ночи слушал бой — у него в блокноте три записи с точным временем.

Кравцова смотрела на меня долго. Потом отодвинула карту, взяла чистый лист.

— Волков, — сказала она, — а я ведь тебя не вызывала. Я тебя заперла здесь, чтобы ты не нарушил мой рабочий график: до субботы я не собиралась разговаривать с тобой по существу.

— У меня для вас плохая новость: у меня нет субботы.

— И у меня нет, — сказала она тихо. — Иди. И, Волков: если ты снова возьмёшься за это дело — я тебе не мешаю. Я лишь следователь, который не хочет в четверг ходить в тот же подвал, где ты.

Я вышел на улицу. Солнце светило по-ноябрьски: старательно, но холодно. На площади Труда, возле башни, стоял Сомов с портфелем и смотрел на часы, которых на башне не было. Не на часы. На циферблат. Тот, где когда-то были часы.

Он стоял, как стоят у постели больного, у которого ты знаешь диагноз, но не говоришь.

И когда я проходил мимо, он сказал — не оборачиваясь, в пустоту, как говорим с городом в целом:

— До воскресенья, Максим.

У меня в тот день не было ничего запланированного на воскресенье. Никого. И ни одного долга, кроме жалобы на самочувствие.

И всё же я не спал до утра.

Глава 8. Записка для меня

В среду в моём почтовом ящике лежала записка.

Мой почтовый ящик — жестяной, девяносто восьмого года, с дверцей, которая открывается у всех, кто к ней подходит с уважением, — висел в подъезде между ящиками Клавдии и пустым ящиком квартиры номер четыре, из которой люди съехали в девяносто восьмом, а ящик так и остался, как остается погост от эмиграции.

Записка была не для Эльвиры. Записка была для меня.

«Волков. Ты в списке. До воскресенья».

Почерк — тот же самый. Отточенный, как будто рука всю жизнь писала мелким шрифтом в ведомостях, где каждая цифра имеет цену в чужой жизни.

Я не паниковал. Паника — это когда непонятно, что делать. У меня было понятно: надо найти того, кто печатает записки. Или того, кто пишет. Или того, кто развозит их по городу так, как развозят квитанции: раньше, чем плательщик успевает придумать отговорку.

Для начала я сделал то, что делают все частники в России, у которых нет ресурсов следственного комитета, а есть ресурс «завернуть за углом и подумать». Завернул. Подумал.

Вывод первый: почерк — одного человека. Тот, кто писал «до субботы» Эльвире, писал «до воскресенья» Гнедому — Гнедому записка нашлась в кармане рабочей куртки, жена её дала Кравцовой, а Кравцова в пятницу мне её прочла за две коробки конфет и полчаса моего молчания. — писал и мне. Один человек. Возможно, тот, кто на фотографии в музее стоял лицом к камере, когда все смотрели на огонь.

Вывод второй: человек этот знает город. Знает, что у Гнедого бессонница, что у Эльвиры отцовские часы, что я принимаю клиентов по вторникам и пятницам. Знает, что на запястье у меня «Полет» 1982 года, нуждающийся в чистке.

Вывод третий, самый скверный: он знает это, потому что это не он один знает. Это знает любой, кто вырос здесь. Любой, кто лазил в подвал башни, пока взрослые пили чай и разрабатывали город. Любой из нас — я, Сомов, Лозовой, Гарин, Клавдия.

Мистика, как известно, растёт не на пустом месте, а на том, что все взрослые договорились молчать.

В четверг я пошёл к Клавдии за пирожками. Пирожки в этот раз были с мясом, а разговор — с мясом, как говорят не жарко, а со всей правдой.

— Ты в списке, значит, — сказала Клавдия, доставая противень. — Ну, допустим. В каком списке?

— В списке должников.

— Должников?

— Тех, кто кому-то должен. За 1989-й. — Я ждал. Клавдия умела держать паузу, как продавец держит сдачу: до последней копейки и чуть дольше. — Ты была тогда на площади.

— Была, — сказала она. — Мне шестнадцать было. Мы с девчонками смотрели. Максим, я тебе скажу то, что больше никому не скажу, потому что ты того опер, что пишет, а не того, что рассказывает. — Она опустила голос до уровня масла на сковородке. — В ту ночь, когда башня горела, у площади стоял Лозовой. Начальник стройтреста. Виктор Прохорович. Он сейчас почётный гражданин города, у него стенд в музее. Он тогда смотрел на огонь и говорил: «Тихо. Тихо все». А потом повернулся к Гарину — это огневой, он акт составлял — и сказал: «Пиши проводку. Пиши, что проводка». И Гарин писал.

— Почему ты помнишь?

— Потому что Лозовой потом каждый год в ноябре присылал мне пирожных. — Клавдия сняла противень. — Три коробки. Восемнадцать лет подряд. Один раз перепутал адрес и прислал в домовую книгу. Я думала, подарки судьбы. А это отплата.

— Отплата?

— Совесть, Максим. Она в городе как счётчик: крутится, крутится, а раз в месяц приходит чек.

Выйдя от Клавдии, я позвонил Кравцовой. Она не взяла трубку. Позвонил ещё раз — не взяла. Написал ей смс: «Ирина. У меня список из трёх: Лозовой, Гарин, Дудник. И ещё я». Ответ пришёл через семь минут, и это было очень по-нашему, по-ясеневски:

«Не смс. Приезжай в морг. В пятницу. Возьми пирожки, я не обедала».

Морг у нас один, при больнице, коричневая дверь с табличкой «Патологоанатомическое отделение», снаружи — крылечко, внутри — шкафы. Капитан Кравцова ждала меня в тамбуре, в перчатках, с папкой. В папке был второй труп.

— Тамара Ильинична Руденко, — сказала она, — бухгалтер стройтреста. Служебная квартира. Соседка слышала ночью бой — двенадцать ударов — и, по её словам, «звук лифта, который едет наверх, когда вы на девятом». Утром Руденко не проснулась. Врач скорой поставил: острая сердечная недостаточность. Шестьдесят три года, гипертония. Город спасёт.

— А ты не спасаешь.

— Я следак, Волков, а не спасатель. Я не могу списать в утиль то, что не куплено. — Она открыла папку. — Но посмотри.

Я посмотрел. Фотография квартиры. Фотография тела. Фотография стола, на столе — будильник «Слава», зашкаленный, стрелки на двенадцати, а стрелки не идут. И фотография правой руки Руденко: в кулаке, сжатом так, что пальцы белые, — что-то было. Что-то маленькое. Круглое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.